



В. В. БИБИХИН

Витгенштейн: смена аспекта

<Фрагменты>

Общее замечание¹

Время ставит под вопрос наше соответствие ситуации, тому, что мы говорим, и нам самим. Нам не хватает утверждения. Мы часто говорим безответственно и почти всегда безответно. Наша речь во всяком случае не безусловна. Нас тревожит ее неопределенность. С ощущения решающей важности мысли и слова начинается философская работа.

Неустойчивость нашего положения кого-то толкнет искать утверждения на столпе истины. Разумный знает, что первый жест испуга перед неопределенностью введет ее во все наши будущие постройки. Необеспеченность истиной примет прочные формы. Догма не допустит своего опровержения, скепсис всегда оправдывает себя. Успокоиться в крайностях легче, чем держаться равновесия. Но неспособность вписать себя в сетку расхожих мнений еще не признак безнадежности. Можно, не впадая в самоутверждение, найти прочную опору в нашей человеческой нищете.

Два ведущих философа XX в. родились в 1889 г., Людвиг Витгенштейн 26 апреля, Мартин Хайдеггер 26 сентября. Витгенштейн вырос и получил начальное образование в Вене конца империи сыном видного в деловом и культурном мире лица. После семейного образования и интерната в Линце он учился с 1906 г. инженерному делу в берлинской Высшей технической школе. Европа доживала эпоху веры в науку, машину и систему. Можно понять, как технический стиль был близок молодому человеку, чей отец был организатором сталелитейной промышленности в Австро-Венгрии и имел зарубежными коллегами Эндрю Карнеги в США и семью немецких Круппов.

¹ В основе работы лежит курс, прочитанный в 1994–1995 гг. на философском факультете МГУ и повторенный там же в 2002–2003 гг.

Людвиг учился инженерному делу недолго не из-за недостатка способностей или интереса. Другое захватило его. В его речи и мысли, однако, осталась подкладка жесткой технической школы. Она учила сухой деловитости. Едва ли в меньшей мере, чем научная дисциплина его стиль определяла музыкальная сторона воспитания. Его мать поддерживала в своем доме салон, куда могла приглашать как друзей Иоганнеса Брамса, Густава Малера, Бруно Вальтера. Один из братьев Людвиг был европейски известный пианист. Читатель Витгенштейна обратит внимание на профессиональный уровень его беглых замечаний о музыке.

Витгенштейн вобрал в себя опыт самоубийства Европы в первой мировой войне. Он отслужил ее в австрийской армии всю с последующим девятимесячным пленом в Италии. Вторую мировую войну он перенес гражданином Великобритании на вспомогательных должностях в лондонском госпитале Томаса Гая, потом в исследовательской группе по физиологии (Ньюкасл).

Об определяющих событиях своей жизни Витгенштейн молчит. Все сделанное им было сбережением того, о чем невозможно сказать. Он не выдавал в своей речи интимного. Его стиль строго соблюдает границы области, куда объяснение не достает. Отстраненная речь, параллельная абстракции новой музыки и живописи, сложилась у Витгенштейна рано. Исполнители его воли по завещанию, распорядители архива² издали военные дневники 1914–1916 гг. только в их философской части. Позднее опубликованная интимная часть этих дневников³ показывает верность призванию и безжалостное наблюдение себя. В «Логико-философском трактате» тридцатилетний автор сковал себя логическим формализмом.

Исследователи ищут разоблачающих документов, по мемуарам восстанавливают черты, сближающие изучаемого человека с обыденным уровнем. Создается иллюзия понятности персонажа,

² Elizabeth Anscombe, Rush Rhees и Georg Henrik von Wright принадлежат поколению людей, лично знавших Витгенштейна, им очарованных, потянувшихся к его теплу, задетых жаром его присутствия, заразившихся им. Их сменяют другие энтузиасты. Теперешний хранитель витгенштейновского архива Michael Nedo руководит полным критическим изданием Витгенштейна в Springer Verlag (Вена, Нью-Йорк). Ожидаемое общее число томов неизвестно. Затягивается работа с рукописями, которых в архиве больше 30 000 страниц. Исследователи пользуются пока в основном часто переиздаваемым восьмитомником: *Wittgenstein L. Werkausgabe*. 8 Bd. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984, где наскоро перепечатано издававшееся в разные годы и в разных местах. Везде ниже мы ссылаемся на это издание с указанием тома и страницы.

³ См.: Ibid. S. 515–570.

у которого, как у всех, жизнь будто бы делилась на интимную и профессиональную стороны. Между тем в Витгенштейне мы имеем дело с одним из тех редчайших достижений, когда все человеческое существо оказалось с ранних лет собрано вокруг важного открытия. Он называл счастье долгом. Судьба человека, который метался в поисках путей, почти ничего не напечатал, оставил все во фрагментах, последние годы был неизлечимо болен, может показаться незавидной. Поэтому у него оставалась необходимость, умирая, перед последней потерей сознания сказать:

«Передай им, что у меня была прекрасная жизнь».

Важным для вдумчивого наблюдателя знаком философской захваченности этого человека было то, что после смерти отца 20.1.1913 г. Людвиг оставил себя ради свободы философских занятий без наследства, пожертвовав 100 000 крон на пособия людям искусства и отказавшись от остальных денег в пользу членов семьи.

Присутствие Витгенштейна ощущается в XXI в. больше, чем в прошлом. Понимания того, чем было захвачено его существо, по-прежнему немного. От Хайдеггера, Джойса, Антонена Арто, Ионеско мы конечно тоже далеки, но все же не в смысле интерпретаций с точностью до наоборот, которые слишком часто возникают при обсуждении мыслителя, чей путь нам предстоит проследить. Витгенштейн связал себя задачей, которую считал самой трудной в философии: сказать не больше того что мы знаем⁴. Для того невыразимого, что оберегалось его словом, на языке современности не нашлось других обозначений, кроме логический позитивизм, логический эмпиризм, аналитическая философия, лингвистическая философия. При серьезной попытке подступиться к его мысли надобность пользоваться этими рубриками отпадает. Ориентация на них уводит от дела в сферу интеллектуальных конструкторов. Витгенштейн занят не теорией, которая обслуживала бы практику, во всяком случае, не философией языка и не анализом нравственных норм, а онтологической этикой, делом хранения бытия. Вычитать у него философию языка всегда возможно, но такое употребление его работы сравнимо с тем, как если бы кто листал Хайдеггера в поисках новой философской терминологии.

Темой должен стать Людвиг Витгенштейн, событие XX в., без раздвоения на личность и труды, на ранний и поздний периоды, на континентальные и островные аспекты его философии. Сам Л. Витгенштейн возражал бы против такого дробления. Он

⁴ Ibid. Bd. 5, S. 75.

не захотел бы и вмешательства в свое дело с разъясняющими толкованиями. Событие не обязательно должно быть осмыслено, чтобы притягивать к себе. Витгенштейн допускает рядом со своей только самостоятельную мысль, пусть спорную. Своими мнениями о его действиях лучше ему не мешать. Трудно ему и помочь. Смотреть на его голый текст так же мало что дает, как при операции наблюдать за жестами хирурга без знания дела. Человек со стороны тут мало что поймет и Бог ведь что подумает. Пока нет доступа к открытию, захватившему философа, чтение его не принесет большой выгоды. Поможет только свой выход к первым вещам. Предисловие к единственной прижизненной книге Витгенштейна начинается с требования:

Эту книгу, наверное, только тот поймет, кто мысли, выраженные в ней — или хоть подобные мысли — уже сам однажды подумал⁵.

Подумать их никто не научит (эта книга не учебник⁶), к ним каждый должен прийти неким образом сам.

В часто цитируемом афоризме первой части посмертно опубликованных «Философских исследований» Витгенштейн говорит о своей цели в философии, показать мухе выход из мухоловки⁷. Выход из этого устройства, несложного стеклянного лабиринта, для мухи собственно всегда открыт, надо только вернуться по своим следам назад. Муха, однако, оказывается к этому неспособна. В другом не реже цитируемом высказывании Витгенштейна человек, запутавшийся в философской проблеме, словно хочет выбраться из комнаты, но не знает как. Он пробует через окошко, оно слишком высоко; пробует через камин, слишком узко. Если бы он только повернулся (turn around), то увидел бы, что дверь все время была открыта. В обоих случаях, мухи и заключенного, для успеха требуется слишком несложный шаг. Выйти в дверь намного легче, чем протискиваться сквозь каминную трубу. Но насколько наступательное движение, каким живое существо внедряется в пространство, кажется естественно, настолько же противоположный шаг необычен. Технические, научные занятия человечества ориентированы на успехи прогресса.

⁵ «Dieses Buch wird vielleicht nur der verstehen, der die Gedanken, die darin ausgedrückt sind — oder doch ähnliche Gedanken — schon selbst einmal gedacht hat» (Ibid. T. 1. S. 9).

⁶ «Es ist also kein Lehrbuch» (ibid.).

⁷ «Was ist dein Ziel in der Philosophie? — Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen» (Витгенштейн Л. Философские исследования. 309 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994).

Растущая деятельность ведет к принятию дополнительных мер, осложняющих ситуацию.

Хайдеггер прав, называя Витгенштейна человеком в поисках выхода, за спиной которого открытая дверь. Но и Хайдеггер думает о повороте (*Кehre*) к другому началу. Поворот, которого ждут вслед за Платоном Витгенштейн и Хайдеггер, требует изменения ума без плана и указателя. Инструкции, какие он себе множит, только запутывают его теперешнее состояние. Поворот ума принадлежит к событиям, в принципе не поддающимся учету.

После освобождения от службы санитаром при раненых Витгенштейн в свои зрелые годы умеет многое, писать книги, читать лекции. Он, однако, не спешит публиковать почти готовые «Философские исследования» и к 1947 г. оставляет чтение лекций в Кембридже. Ему ничего не интересно, кроме исканий мысли. Рядом с захваченностью ею все серо. Но небывалое нельзя получить по желанию. Зимой 1947–1948 гг. в коттедже Росторо графства Голуэй на западном побережье Ирландии он сидит у моря, ждет погоды. Озарение не приходит. Он предполагает, что причиной тому его теперь уже неизлечимый рак. Снова, как в Норвегии зимой 1913–1914 гг., близок нервный срыв, кроме того болит голова, тело, расстроен желудок. Об этих бедах он говорит мало. Главное, не идет работа. Он подстегивает себя: стало быть, пришла старость; да наверное и талант был невелик. Некоторые яблоки так никогда и не созревают; сначала они твердые и кислые, потом сразу становятся мягкими и дряблыми. Мой философский талант сейчас кончается; это большое несчастье, но все так. Тогда издавай готовое, у тебя тысячи страниц рукописей; участвуй в конференциях, на которые всегда приглашают; преподавай. Витгенштейн хочет другого, чего сам себе устроить не может, что дается или не дается и без чего жить не имеет смысла.

В награду за мучительное ожидание, вынесенное без срыва в принятие мер, приходят несколько счастливых недель в ноябре и декабре 1948 г. В отеле Росса на Паркгейм-стрит в Дублине есть спокойная теплая комната, где он к своему удивлению обнаруживает, что снова способен работать. Дублинский покой не продлился и трех месяцев. Попеременно отчаяние сменялось необъяснимым счастьем вплоть до последних дней. Тогда стало окончательно ясно, что дело не в здоровье, географическом месте, удобном доме и не в продолжении жизни вообще. Зная достоверно, каким образом и примерно когда придет конец, получив приглашение от своего доктора Бивена прийти умирать в его дом в Кембридже, он пишет другу за 10 дней до своего 62-го дня рождения и за 13 дней до смерти:

Со мной произошло что-то из ряда вон выходящее. Приблизительно месяц назад я неожиданно обнаружил, что состояние моих интеллектуальных способностей таково, что я могу заниматься философией. Раньше я был *абсолютно* уверен, что никогда этого не смогу. Впервые после двух с половиной лет с моего мозга спала пелена. Конечно, пока я работаю всего где-то 5 недель, и к завтрашнему дню все может кончиться⁸.

«Я буду работать сейчас как никогда раньше!» — сказал он г-же Бивен. О предсмертной просьбе «передать им, что у меня была прекрасная жизнь», автор мемуаров пишет, что ему эти слова кажутся странно волнующими и полными тайны⁹.

Загадки, которыми Витгенштейн всегда говорил, отвечают тому неизвестному, чем он был захвачен. *Мистическое* — одно из его важных слов. Не требуются особые объяснения, почему путь, пройденный решающими умами XX столетия, оказался таким необычным. Теперь яснее его необходимость. Отрешенная чистота была нужна среди смуты для сохранения целостности того, что не поддается представлению. Философ умеет своим словом хранить молчание, которое достойно питающей всех тайны.

Уникальность сделанного им не оставляет возможности нейтрального пересказа и повтора. Его мысль ускользнет от стараний установить ее. Его теорию невозможно в привычном смысле изложить. Поэтому его изводило собственное неумение преподавать, на которое он сердился, то решая уйти с кафедры, то на лекции выкрикивая в горе: но я чудовищный преподаватель, я порчу вас, господа, никуда не похужу. Передаче его главного сообщения лишь мешало то, что от лектора с мировым именем терпели любые странности. Его нестандартные приемы проглатывались большинством с излишним согласием. Сдержанное неприятие оказалось бы здоровее. Академическая среда обходит бездны. Витгенштейна осваивают в надежде, что его проповедь удастся в конечном счете разложить на логико-философские, этические и мистические компоненты. Его жизненная цельность не поддается такому анализу. В конце концов он признал невозможность сообщить что-то важное методом университетского преподавания¹⁰, несмотря на всю предоставленную ему здесь свободу. Подобно Антонену Арто, он выбрал Ирландию для своего по-

⁸ Малькольм Н. Людвиг Витгенштейн: воспоминания (пер. Дмитровской М.) // Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель / Сост. В. П. Руднев. М., 1993. С. 96.

⁹ Там же. С. 96.

¹⁰ В те же годы к той же уверенности пришел Хайдеггер.

следнего бегства. Историографическая машина прорабатывает Витгенштейна по традиционным схемам. В ходу сравнение с Сократом, чьи жизнь и смерть предполагаются уже понятными. Но уход Витгенштейна из университета был предупреждением о принципиальной невозможности справиться с ним привычными приемами философского освоения. Мировая научная среда мало изменилась после 1950-х гг. в сторону большей восприимчивости к уникальному. Искания нестандартного ума ставят предприятие его изучения под вопрос. Мы не должны помогать адаптации мыслителя. Надо надеяться, что Московский университет имени Ломоносова благодаря гению страны остается местом, где удастся прислушаться к существенному и где через причастность к мировой истории сложилась достаточная традиция смирения и терпения, чтобы принять в случае неуспеха отрицательный результат.

Витгенштейн раскладывает свои загадки как игры. Здесь одна из возрожденных им черт архаики. Важное у него слово *das Spiel* включает понятия *свободный ход* и *система сложных движений*. Играя, художник разворачивает в науке, поэзии, музыке тонкость и сложность, способные отвечать полноте целого мира. Любого совершенства тут конечно окажется мало. В связи с загадками, задачками, фантазиями Витгенштейна вспоминается ранняя древнегреческая мысль. У Гераклита разворачивание космоса во времени разыграно божественным младенцем эоном¹¹.

Особая тема — Витгенштейн и детство. После войны он по убеждению включился в образовательную программу новой Австрийской республики и шесть лет учительствовал в сельской школе. Его увлекла надежда найти в деревенских детях понимание своему сообщению. Другую сторону той же темы образует замеченное у самого Витгенштейна сохранение младенческой непосредственности. Он принадлежал к небольшому собранию тех, кто сумел навсегда сохранить в себе ребенка.

Игра принадлежит к существу человека. Детей не приходится ей учить. Стоит спросить, умеют ли они *не* играть. В древнегреческом языке *ребенок и игра* сросшиеся понятия. Гераклитовское *дитя играющее* — естественная этимологическая фигура (*παῖς παίζων*). О софии премудрости Божией, с какой устроен мир, мы по определению не знаем достаточно, чтобы уверенно отказывать ей в игре. Для понимания игры как естественного человеческого состояния нам, русскоязычным, приходится делать специальное усилие. Игра начинает отслаиваться от общего поведения и те-

¹¹ Гераклит. Фр. В 52 (Дильс-Кранц).

рять естественность с началом школы. Известна невыносимая жесткость подростковых игр. Игры взрослых или счастливо возвращают к детству, или уродливы и зловещи. Серьезность при долгом культивировании тяжела и провоцирует срыв. Современное человечество встраивается в компьютер, где серьезность и игра безысходно переплетены.

Серьезная игра сохраняется в музыке, драме, балете, поэзии. Из историографии, покровительница которой Клио в античности входила в число муз рядом с Мельпоменой и Терпсихорой, игру, начиная с Нового времени, вытесняют. Сказать, что история не меньше игра чем музыка, поэзия, театр, в наше время нельзя. От исторической науки требуют документальной точности. В своей архивной части она приближается к инстанции, выдающей официальные свидетельства. За отказ историографии в игре человечество расплачивается утратой интереса к ней. Между тем игра исподволь продолжается. Главные решения принимают часто без документов, важнейшие бумаги иногда уничтожают, а среди хранимого много продуктов административной фантазии.

Витгенштейн включает в языковые игры всю практику человеческой цивилизации. Частый образ первобытного племени позволяет ему вести анализ слепого уровня этой практики. Языковые игры обманчивое выражение, когда дело идет об операциях, в которые встроено тело с костями и кровью. Обиходный язык в «Трактате» есть часть человеческого организма и не менее сложен, чем тело. Слово слитно с поступком и действием. Речь уходит своими корнями в природу. Мы обнаруживаем себя играющими в языковые игры. От нас зависит обычно только выбор их правил. Они поддаются описанию. Каким правилам, однако, подчиняется переход от одной игры к другой или к никакой? Будет ли игрой смена и отмена правил? Зная нормы учебы на факультете, студенты становятся хорошими и плохими. Они могли стать никакими. Жесты, взгляды очень богатых людей другие, чем у нас. Мир в целом мог быть устроен иначе. Дело никогда не складывается так, чтобы мы полностью отделились только одной игре и вложили себя целиком в ее успех. Нашим играм сопутствует неотделимая от них, пусть иллюзорная, возможность перемены.

У детей так называемого дошкольного возраста в первые пять лет жизни смена игры, так сказать, входит в игру. Потом отношение к игре сменится, как сказано, до полной противоположности. Правила обращения подростков между собой, с родителями и воспитателями крайне негибки. Одновременно с окостенением игры появляется порыв полной смены всех правил через побег из дома, смену друзей, иногда физическое уничтожение себя

или партнеров по игре, ставшей невыносимо жестокой. У детей до пятилетнего возраста, который по Фрейдю в доисторическом прошлом соответствовал полной зрелости человека, проблема смены игры и ее правил не существует. Младенец принимает предложенный ему мир — родившийся в тюрьме играет внутри сложившихся жизненных условий вместе с тамошними правилами, — и одновременно играет в правила, видя в них то, что подсказывает ему воображение. С позиции взрослого превосходства говорят о наивности или, хуже, неразумии детей. Ребенок может, подарив игрушку, тут же потребовать ее назад. Здесь нет нечестности и слабоумия. Игрушка была им подарена внутри прежней игры, а теперь он включил себя в другую.

В конечном счете взрослые меняют правила игры как дети, хотя и в более долгие сроки. С веками меняются шахматы. При смене цивилизаций меняются почти все игры. Человечество в целом поступает как ребенок, играющий не только в любых условиях, но и в любые условия, с той разницей, что дело здесь не ограничивается воображением.

Игры так называемого второго Витгенштейна противопоставляют строгости раннего «Логико-философского трактата», где тема игры почти отсутствует и «мир не зависит от моей воли»¹². Жесткость мира и языка создается поверхностным впечатлением от «Трактата». В свете этого впечатления поздний Витгенштейн якобы допускает пространство для игр. Скорее, в «Трактате» весь мир одна игра, которую нельзя изменить, но можно заменить. Здесь уместно вспомнить об ощущении другого мистика прошлого века. По Эжену Ионеско, мир нельзя исправить, но можно создать заново. Художественная речь Ионеско способна служить иллюстрацией к формулам логика:

«В каждый момент времени за видимой реальностью стоит наготове другая реальность, другая вулканическая вселенная, готовая сместить первую, взорвать ее, расплавить... В конце концов возможно, что другой мир заменяет собою наш постепенно, почти незаметно для нас, без грозных катастроф, может быть, благодаря какой-то медленной метаморфозе, так что мы окажемся в иных просторах, не ведая о том»¹³.

Слово в «Логико-философском трактате» и раньше, в так называемом «Прототрактате» и в дневниках 1914–1916 гг., есть

¹² Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. 6.373.

¹³ Цит. по: Бибихин В. В. Искусство и обновление мира по Эжену Ионеско. Самосознание культуры и искусства XX века. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 506. Здесь и везде, где не указан переводчик, перевод наш.

мера мира. Оно примеривается к нему, зондируя его на разную глубину. Меру тут нужно понимать широко, включая старое значение *отмерить* в смысле пройти расстояние или выдать определенное количество товара. Со своей стороны, мир в обоих смыслах времени и бытия задает предельную меру слова <...>.

Мы имеем сейчас возможность понимать Витгенштейна шире, чем в формально-логическом ключе, в каком «Трактат» воспринимался через Рассела и Мура. Нетрудно догадаться, как Витгенштейн отнесся бы к списку авторитетов, предложенных Айером. Едва ли они заставили бы его изменить свое отношение к современной философии, которая, за исключением близких друзей и в порядке продолжения устных бесед, мало упоминается на его страницах.

У него есть критика Гуссерля. На занятии Венского кружка 25.12.1929 г. у Морица Шлика в контексте обсуждения цвета Шлик спрашивал по поводу Гуссерля:

«Как можно возразить философу, который думает, что феноменологические высказывания суть синтетические суждения *a priori*?»¹⁴

В записи Фридриха Вайсмана ответ Витгенштейна выглядит так, как если бы тот цитировал «Логические исследования» Гуссерля. Естественнее предположить, что Витгенштейн подхватывает гуссерлевскую формулу¹⁵ со слов Морица Шлика, который критически разбирал ее в книге «Общая гносеология», незадолго до того вышедшей вторым изданием¹⁶. Теперь, на Рождество 1929 г., обсуждается статус предложения «Предмет не может быть красным и зеленым одновременно». Можно ли считать его априорным синтетическим суждением? Ход мысли Витгенштейна легко предвидеть. Он не будет размышлять над возможностью для предмета быть одновременно красным и зеленым. Для этого придется установить грамматику выражений *предмет* и *видеть одновременно*. Подобные задачи кажутся ему не только непомерно сложными, но и надуманными. Он движется вперед только шагами многообещающих прозрений. Выяснение, можно ли видеть зеленое в красном, обещает утонуть в разборе. Почему бы и нельзя. Да, конечно, цвет не подвержен перемене аспектов, но что такое *видеть*? В племени, где патриции носят всегда

¹⁴ Wittgenstein L. Werkausgabe. 8 Bd. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984. Bd. 3. S. 67.

¹⁵ «Он <...> заглянул в труды <...> Гуссерля или слышал, как их обсуждают другие» (Пассмор Дж. Сто лет философии. М., 1998. С. 272).

¹⁶ См.: Schlick M. Allgemeine Erkenntnislehre. Berlin, 1925.

только красное и зеленое, плебей, которому такое не позволено, не сможет видеть красное без того, чтобы перед ним не встало и зеленое. Отвернувшись от детали патрицианской одежды, он безусловно скажет, что видел красное и зеленое, но какой именно цвет на каких предметах одежды, не найдет нужным вспоминать: оба цвета у него сольются в один. Ситуация с гуссерлевским тезисом чревата и чем-то худшим чем просто безнадежное увязание в психологии. Обсуждаемый тезис Гуссерля есть утверждение. Что такое вообще любое *утверждение*? Это твердая констатация. В каких случаях утверждают? Когда существует возможность противоположного утверждения. Всяким утверждением предполагается опровержение. Кому-то пришло в голову сказать: «У меня не болит живот». Он в принципе не мог этого сказать, если бы у него никогда не болел живот. Сказать, что у меня не болит живот сейчас, значит сказать, что у меня болит живот временами, причем, возможно, и сейчас тоже, но так, что я не ощущаю. Переход от положительного утверждения к отрицательному происходит не обязательно потому, что боль переменялась, а иногда потому что внимание перешло от необращения внимания к обращению. «У меня смертельно болит живот». Если смертельно, то я умер и боли нет; если не смертельно, то в каком-то смысле у меня живот не болит. Еще: «У меня нет денег». Стоит мне сказать такое, и я допускаю возможность у меня денег. Фраза «у меня нет денег» поэтому предполагает, что в принципе у меня есть деньги, и указывает на нулевой пункт моего финансового диапазона.

Если бы фраза «Предмет не есть одновременно красный и зеленый» подытоживала опыт перебора предметов, тогда она была бы естественнонаучной констатацией фактов и имела конкретный смысл, означая, что в такие-то моменты, глядя на такие-то предметы, я не наблюдал в них одновременно красного и зеленого. Фраза, однако, значит явно что-то другое, а именно что красное и зеленое *не могут* быть увидены одновременно. Она не сокращенная запись такого-то числа наблюденных фактов, а утверждение. Как всякое утверждение, она отрицает свою противоположность, т. е. фразу «предмет может быть одновременно зеленым и красным». Та фраза тоже не сокращенная запись экспериментов, а синтетическое суждение, составляющее вместе то, что не наблюдается нами опытно. В опыте нет — и не может быть — ничего, чем абсолютно исключалось бы второе суждение. По этим и другим причинам есть большое неудобство в отношении обоих суждений к априорным синтетическим. Наоборот, легко и естественно считать слова *могут-не могут* в этих фразах моментами грамматики нашего языка. В принимаемую нами

языковую игру закладывается невозможность для предмета быть одновременно красным и зеленым. В грамматике упомянутого гипотетического племени такого правила не было бы.

Таким образом, об априорном синтетическом суждении говорить применительно к цвету предмета не только преждевременно, но и рискованно. Если Гуссерль находит, что все же есть какая-то возможность сохранить за суждением о предмете статус априорного синтеза, то «На это я возразил бы: слова конечно придумать можно; но мне ничего не удастся под ними помыслить»¹⁷.

О вдумывании в Гуссерля, даже о внимательном чтении его здесь конечно речи нет. Обсуждение темы продолжится в том же плане¹⁸.

Разница с отношением к Хайдеггеру очевидна. В записях Вайсмана сразу вслед за последней относящейся к Гуссерлю фразой:

«Worte kann man ja erfinden;
aber ich kann mir darunter nichts denken»

следует запись от 30.12.1929 г.:

«Ich kann mir wohl denken, was Heidegger mit Sein
und Angst meint»¹⁹.

Издатель записей Вайсмана Мак-Гиннес в своем примечании связывает это высказывание с текстом из «Бытия и времени», цитируя его по «Ежегоднику философии и феноменологического исследования»:

«От-чего ужаса есть бытие-в-мире как таковое. Каково феноменальное различие между тем, от чего ужасается ужас, и тем, от чего страшится страх? От-чего ужаса не есть внутримирное сущее <...> от-чего ужаса есть мир как таковой»²⁰.

Читает ли Витгенштейн действительно «Бытие и время» по гуссерлевскому ежегоднику? Почему тогда он выхватывает сразу из его середины то, что касается ужаса? Естественнее предположить, что до него в конце декабря 1929 г. дошла отдельно изданная в Бонне в 1929 г. 29-страничная книжечка «Что такое метафизика?». О ее распространении говорит переиздание без из-

¹⁷ Wittgenstein L. Werkausgabe. 8 Bd. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984. Bd. 3. S. 68.

¹⁸ Ibid. Bd. 3. S. 78.

¹⁹ Ibid. Bd. 3. S. 68.

²⁰ Хайдеггер М. Бытие и время. СПб., 2002. С. 186–187.

менений в следующем 1930 г. и потом в 1931 г. Позднее она еще дважды выходила с послесловием и предисловием²¹. Тема бытия и ужаса здесь центральная и бросается в глаза отчетливее, чем в «Бытии и времени».

«В ужасе, говорим мы, «человеку делается жутко». Что «делает себя» жутким и какому «человеку»? Мы не можем сказать, перед чем человеку жутко. Вообще делается жутко. Все вещи и мы сами тонем в каком-то безразличии. Тонем, однако, не в смысле простого исчезания, а вещи повертываются к нам этим своим оседанием как таковым. Проседание сущего в целом насаждает на нас при ужасе, подавляет нас. Не остается ничего для опоры»²².

Витгенштейн должен был заметить и оценить близкое ему обращение Хайдеггера с естественным языком: разговорные фразы наполняются философским смыслом.

«В ужасе «земля уходит из-под ног». Точнее: ужас уводит у нас землю из-под ног, потому что заставляет ускользать сущее в целом. Отсюда и мы сами — вот эти существующие люди — с общим провалом сущего тоже ускользаем сами от себя. Жутко делается поэтому в принципе не «тебе» и «мне», а «человеку». Только наше чистое присутствие в потрясении этого провала, когда ему уже не на что опереться, все еще тут <...>. Ужасом приоткрывается Ничто»²³.

Опытом ужаса высветляется бытие.

«Ничто — не предмет, ни вообще что-либо сущее. Оно не встречается ни само по себе, ни пообок от сущего наподобие приложения к нему. Ничто есть условие возможности раскрытия сущего как такового для человеческого бытия. Ничто не составляет, собственно, даже антонима к сущему, а исходно принадлежит к самой его основе. В бытии сущего совершает свое ничтожение Ничто»²⁴.

Ничтожение, работа ничто, очерчивает в ужасе истину бытия. Ничто и бытие взаимно определяют. Можно сказать, что бытие ужасно в том смысле, что его чистота отгорожена порогом ничто. Между тем сказать так значит ломать существующую грамматику.

²¹ *Heidegger M.* 1) *Was ist Metaphysik? Um ein Nachwort erweiterte 4. Auflage.* Frankfurt a. M., 1943; 2) *Was ist Metaphysik? 5., durch eine Einleitung erweiterte Auflage, mit neu durchgesehenem Nachwort.* Frankfurt a. M., 1949.

²² *Хайдеггер М.* *Время и бытие.* М., 1993. С. 20.

²³ Там же. С. 20.

²⁴ Там же. С. 22–23.

Равнодушный к Гуссерлю, за словами которого «ничего не может себе подумать», Витгенштейн «легко может себе подумать» (т. е. сам тоже подумать), что Хайдеггер подразумевает (имеет в виду) своим бытием и ужасом:

«Человек имеет влечение (порыв, импульс) наскакивать на границы языка. Подумайте, например, об изумлении, что что-то существует. Это изумление нельзя выразить в форме вопроса, да и ответа на него вовсе никакого нет»²⁵.

У Хайдеггера:

«Наш вопрос о Ничто — что и как оно, Ничто, есть — искажает предмет вопроса до его противоположности. Вопрос сам себя лишает собственного предмета. Соответственно и никакой ответ на такой вопрос тоже совершенно невозможен»²⁶.

«Только потому, что в основании человеческого бытия открывается Ничто, отчуждающая странность сущего способна захватить нас в полной мере. Только когда нас теснит отчуждающая странность сущего, оно пробуждает в нас и вызывает к себе удивление. Только на основе удивления — т. е. открытости Ничто — возникает вопрос “почему”?»²⁷

Часто цитируемое и приведенное выше замечание Витгенштейна о неудержимом влечении, толкающем человека наскакивать на границы языка, включает тему бессмыслицы:

«Все, что мы можем сказать, а priori может быть только бессмыслицей (Unsinn)»²⁸.

Исследователи показали, что бессмысленность суждений — об этике, т. е., для Витгенштейна, что о безусловном позитивные высказывания невозможны²⁹ — не означает у него отказа от говорения. Его молчание состоит из 30 000 страниц его публикуемого теперь архива. Прорыв за границу языка противоположен упорядочению речи, какого требует например Хилари Патнэм, «естественный реалист», воздерживающийся от идеалистического номинализма, или Альфред Айер, предостерегающий от Хайдеггера, Деррида и в конце концов от Витгенштейна.

²⁵ Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984. Bd. 3. S. 68.

²⁶ Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 18.

²⁷ Там же. С. 26.

²⁸ Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984. Bd. 3. S. 68.

²⁹ Clair A. Wittgenstein en débat avec Kierkegaard: la possibilité d'un discours éthique // Cahiers de philosophie. N. 8/9. Nouvelle série. Automne, 1989. P. 217.

«Тем не менее мы насакиваем на границы языка»³⁰.

Сокращенная запись Вайсмана реконструируется из других текстов Витгенштейна. Граница значимого языка среди теснящих нас неопределенностей говорит о присутствии мира как ограниченного целого. Мистический опыт мира, который «должен быть как раз тем, что он есть», остается последним и единственным обеспечением достоверного высказывания. Упор о границу мира и значимого языка дает твердую почву бьющемуся внутри своей клетки человеку. Прорыв к границе, хотя он не дает знания и никогда не сделает этику наукой, нужно уважать³¹. Витгенштейновский опыт вторит фундаментальному настроению ужаса. Оба сопутствуют введению мира в определенность целого. Повседневность изматывает нечеткостью; в пространстве и времени мы уходим в бесконечность; отчетливой целостности не видим; только угадываем ее, не схватываем; уловив, не можем удержать; имея, теряем. Между тем вне опоры в целом всякая фиксация условна.

Сказав свое состояние, я упустил его тем, что сказал. Не пытаться схватить несхватываемое советуют многие, подобно Альфреду Айеру. Но тогда мне грозит упустить свое упущение. Не признавшись в неудаче, отказавшись расписаться в своей немощи, я выхожу из своей человеческой ситуации. Моя мысль и речь останется тогда окрашена ею незаметно для меня. Я окажусь в положении свиней, о которых Гераклит говорил, что они довольны грязью. Граница неотделима от моего конечного существования. Витгенштейн и Хайдеггер наталкиваются здесь оба на безусловный предел. Встреча с ним так или иначе неизбежна.

«В такие бездны нашего бытия въедается эта ограниченность концом, что в подлинной и безусловной конечности нашей свободе отказано»³².

Человек есть граница между всем его неокончательным окружением и мировой границей, которой границы нет³³. Когда мы приходим к неограниченной границе, к таинственной опреде-

³⁰ Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984. Bd. 3. S. 68.

³¹ Clair A. Wittgenstein en débat avec Kierkegaard: la possibilité d'un discours éthique // Cahiers de philosophie. N. 8/9. Nouvelle série. Automne, 1989. P. 216.

³² Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 24.

³³ Ср.: Николай Кузанский. Наука незнания. III 5, 208: «Хотя основа существования всеовершенной человеческой природы — свыше, она остается абсолютной предельной конкретностью и нисколько не утрачивает своего природного вида <...> наоборот, предел, не имея предела, свободен от всякой ограниченности и несоизмерен вещам».

ленности мира, язык встает перед нами преградой. Наша речь становится неисправимо бессмысленной.

В такой ситуации звучит предписание конца «Логико-философского трактата» о долге молчания. В расхожем понимании это значит просто не говорить. В возвышенной платонической трактовке расплавление в мистической глубине целого мира якобы забывает о всяком языке. Типичная ошибка в понимании восточного православного исихазма отождествляет безмолвие не с тишиной, а с отсутствием речи. На деле молчание может быть сохранено только словом, расширенным до поэзии и музыки. Бессловесное молчание будет без нашего желания истолковано. Молчание определялось нами как основа речи; его так или иначе нет помимо речи. Говоря о бессмысленности метафизики, Витгенштейн оставляет возможность понимать ее как молчание, причем отождествляет молчание с этикой <...>.

Вера требует молчания. Молчание псевдонимы носят важные двойники Кьеркегора Йоганнес де Силенцио и брат Тацитурн. Молчание двойственно и опасно. Оно и кров веры и бесовская ловушка. Дух, умолкнувший в божественном ужасе, следует иногда внушению верховного демона. Отказ говорить может быть в равной мере формой добра и зла. Избежать двойственности сумеет тот, у кого сама речь будет иметь главным достоинством молчание. В соблазны речи так легко впасть. Перед божественной премудростью весь человеческий дар речи не больше чем пустая болтовня. Искусство безмолвия не менее весомо, чем владение словом. Кьеркегор называет лилию и птицу учителями молчания. Поющая птица по существу ничего не толкует; она не навязывает никому свои проблемы, не жалуется, не обвиняет. Научившись звонкому молчанию у птицы, человек делает первый шаг к исканию царства Божия. Слова искренней молитвы прекращают поток речей. Молитва не нагромождение слов, а путь к вниманию, достаточно тихому, чтобы слышать Бога. Способность слушать предполагает углубленное молчание. В послушничестве и молчании этический дискурс уступает место истине христианства. Кьеркегоровское погружение этики в молчание не замыкает человека в одиночестве.

Витгенштейн разделяет кьеркегоровское нерасположение к этико-религиозной болтовне. Мир с загадкой его законченной целостности располагается далеко вне любого человеческого дискурса. Мистическое будет растрепано, если станет пищей интерпретаторов. Но молчание не сохранить, если оно останется бессловесным. Противоположны не молчание и слово, а их союз, с одной стороны, и, с другой, пустые толки, не далекие от немoty. На позитивном полюсе этой противоположности одинаково

умещаются островная целомудренная сдержанность и континентальное глубокомыслие. Дремучее английское или шотландское упрямство Дунса Скота, Юма, Бентама, Рассела ставит предел европейскому, собственно, германскому философствованию; Витгенштейну удается соединить то и другое.

«Я считаю заведомо важным положить конец всей болтовне об этике — существует ли познание, существуют ли ценности, поддается ли благо определению»³⁴.

Познание истины принадлежит тут этике как у платоновского Сократа. Бытие не тематизируется отдельно от мирового целого, которое открыто только мистическому опыту.

Неопределимость блага как внеприродного, уникального, простого качества в метаэтике Джорджа Мура исключает благо из всякого научного дискурса. Альфред Айер в принципе согласен с Муром, опасаясь только, что теория неопределимости блага видит трансцендентную сущность там, где нет ничего кроме жеста одобрения или неодобрения. Доказывающие неопределимость блага невольно продолжают его негативно определять, выходя из поля ее притяжения в сферу лексики. Айер таким образом дальше Мура отшатывается от всякой метафизики, надеясь избежать неосторожной речи. Витгенштейн видит и безумие метафизики, и необходимость этого безумия.

«A priori несомненно: какую бы ни давать дефиницию добру — она всегда лишь недоразумение <...>. Но тенденция, наскакивание, на что-то указывает. Это знал уже святой Августин, который пишет: Что, скотина, ты не хочешь говорить бессмыслицы? Скажи хоть бессмыслицу, не беда!»³⁵

Обычно фраза Августина «Et vae tacentibus de te, quoniam loquaces muti sunt» переводится в смысле «И горе безмолвствующим о Тебе, когда и многоглаголивые немолствуют»; или, с элементом толкования: «Горе молчащим о тебе, ибо хотя они говорят много [незначащего], они немы [в главном]»³⁶. Мы читаем: «Горе тем, кто молчит о Тебе [от страха], что, много говоря, [все равно] останется немым». Так Августин понимает в начатых раньше «Исповеди» «Толкованиях на псалмы» слова пророка Давида «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего»³⁷: «Кости обветшали, потому что он не произнес устами

³⁴ Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984. Bd. 3. S. 68–69.

³⁵ Ibid. S. 68–69.

³⁶ Августин Аврелий. Исповедь. I 4,4.

³⁷ Псалтирь. 31,3.

исповедь во спасение»; «умолчал свою исповедь, провозгласил свою гордыню, ибо сказал: „смолчал, не исповедался“»; «не умеем говорить, а восторг не позволяет молчать, так что нельзя ни говорить, ни молчать; что же делать нам, не говорящим и не молчащим?». Августиновское *vae, uvy*, уточняется Витгенштейном до *скотина*: ты знал, что перед Богом твои речи ничто, и потому молчал? Ничего, бейся о границы языка, иначе будет хуже.

Радикальная деструкция метафизики в «Трактате» воодушевила молодого Айера, и кого она не манила. Но когда она увлекла Вайсмана и вообще Венский кружок, Витгенштейн остался недоволен: отход от метафизики, отказ от ее языка! этого еще мало, вы что-нибудь *дайте*. Дать трудно. Пути расходятся, Витгенштейн уезжает в Кембридж. Оправдание разрыву находится скоро: Витгенштейн сам метафизик! его речь не более осторожна, чем у ее старых мастеров! Старые Айер и Рассел осуждают мистического этика. Если ты сказал, что философия нонсенс, прими это к руководству и не выдумывай, что она существенный или важный нонсенс. Из неизбежной немоты любых речей о Боге аналитические философы выводят запрет говорить иначе как только о чем-нибудь другом. Витгенштейн, наоборот, ни о чем постороннем говорить не хочет. Айеру не хватает у него последовательности как тут, так и, например, в проблеме *других*: если Витгенштейн действительно эмпирик, солипсист и знает только то, что знает, откуда у него *другие*?

«Короче говоря, мое теперешнее обвинение против Витгенштейна и его более или менее критичных учеников таково, что они прикарманивают то, что Рассел однажды назвал «преимуществом воровства перед честным трудом».

Айер выговаривает то, что думают многие.

«Некоторые люди и сегодня отмахнулись бы от Витгенштейна как от шарлатана»³⁸.

Мистик из Вены встает тут рядом с мыслителем из Фрейбурга.

Разобранный выше отклик Витгенштейна на Хайдеггера общеизвестен. Более важен мало обсуждаемый случай, когда Витгенштейн подхватывает и развертывает по-своему мысль своего ровесника без упоминания его имени. 22.12.1929 у Шлика Витгенштейн (в записи Вайсмана) начинает тему *все*:

«Я буду говорить сначала об обычном “все”, напр.: “все люди в этой комнате сидят в брюках”. Откуда я это [т. е. что именно *все*] знаю? Смысл фразы: “Господин профессор Шлик сидит в брюках, Вайсман сидит в брюках, Витгенштейн сидит в брюках, и *кроме*

³⁸ Пассмор Дж. Сто лет философии. М., 1998. С. 271.

них тут никого нет”. Всякое полное перечисление должно завершаться словами «и кроме того ничто (und sonst nichts)”. Что это означает? Здесь надо понимать так, что мы [тем самым] говорим: “Господина Карнапа нет в комнате, господина... и так далее”. И предложения, которое после этого следует ожидать, а именно “т. е. все вещи”, такого предложения не существует»³⁹.

Проблема целого и формула «и кроме того ничто» здесь те же, что в уже цитированной хайдеггеровской лекции «Что такое метафизика?», только в типичном витгенштейновском повороте к обыденной конкретности.

У Хайдеггера «всякий метафизический вопрос всегда охватывает метафизическую проблематику в целом. Он всегда и идет от этого самого целого». Наука со своей стороны тоже обеспечивает свою объективность охватом всего сущего и только сущего. Лекция «Что такое метафизика?» была написана и опубликована в лучшие годы науки XX в., прежде всего физико-математической, когда работали Эйнштейн, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Вольфганг Паули, Эрвин Шрёдингер. У квантовой физики многое получалось. Говорили о прорыве в новую землю, о невиданных горизонтах. Заниматься наукой было захватывающе интересно. Блестящий принцип научной объективности определял собой лицо культуры. Она не только освободилась от норм религии, но начала диктовать критерии научности богословию. Наука взяла теологию под свою опеку. Хайдеггер, участник подъема 1920-х гг., по первому после богословия образованию математик, ученик Гуссерля с его возвращением философии к математической строгости, вступая молодым профессором на кафедру Гуссерля в сообщество ученых Фрейбургского университета с сильными естественнонаучными факультетами, говорит о научной страсти.

«В науках — соответственно их идее — происходит подход вплотную к существенной стороне всех вещей <...>. У науки в противоположность повседневной практике есть та характерная особенность, что она присущим только ей образом подчеркнута и деловито дает первое и последнее слово исключительно самому предмету <...> мироотношение, установка, вторжение — в своем исходном единстве вносят зажигательную простоту и остроту присутствия в научную экзистенцию. Если мы недвусмысленно берем высветленное таким образом научное присутствие в свое обладание, то должны сказать:

³⁹ Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984. Bd. 3. S. 38.

То, на что направлено наше мироотношение, есть само сущее — и больше ничто.

То, чем руководствуется вся наша установка, есть само сущее — и кроме него ничто.

То, с чем работает вторгающееся в мир исследование, есть само сущее — и сверх того ничто».

Здесь на полях боннского 1929 г. издания лекции есть приписка рукой Хайдеггера:

«Это прибавление после тире объявили надуманным и искусственным, не зная того, что Ипполит Тэн, которого можно считать представителем и знамением целой до сих пор еще господствующей эпохи, сознательно применял эту формулу для обозначения своей принципиальной установки и программы»⁴⁰.

Настроившись увлеченно и деловито на захватывающе интересное дело, ученый отставляет в сторону что-то пустое — ничто, которое, как учит от Парменида до Гегеля сама философия, не существует. Ничто однако настолько глубоко и прочно не существует, что в него может провалиться целиком человек вместе с гигантским предприятием своей науки. Ученый способен справиться с любым сущим, но не умеет иметь дело с тем, чего нет. Порыв науки оказывается подорван тем, что она не может охватить *все*. Она всегда работает с частью потому, что с самого начала отодвинула от себя ничто. Она не может в принципе знать ничто, чтобы не перестать знать что-то. Опыт ничто способен иметь только весь человек, например в фундаментальном, т. е. взявшем его до основания, настроении ужаса.

Ужас впервые ставит присутствие перед сущим в целом. В опыте ничто человек удостоверяется в границе бытия и тем самым впервые видит все бытие. Науке ее предмет, *все* объективное сущее, подарен этим экзистенциальным опытом, о котором она, однако, забыла. Полнота человеческого существа наукой упущена. Объективность научного охвата всего сущего оказывается проблемой.

«Наше научное бытие приобретает свою простоту и заостренность благодаря тому, что подчеркнутым образом вступает в отношение к самому по себе сущему и только к нему. Ничто науке хотелось бы с жестом превосходства отбросить. Теперь однако в вопросе о Ничто обнаруживается, что это наше научное бытие возможно только в том случае, если оно заранее уже выдвинуто в Ничто. Оно понимает себя таким, какое оно есть, только тогда, когда не уклоняется от Ничто. Пресловутые трезвость и всеислие

⁴⁰ Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 407.

науки обращаются в насмешку, если она не принимает Ничто всерьез. <...> Только потому, что в основании человеческого бытия приоткрывается Ничто, отчуждающая странность сущего способна захватить нас в полной мере. <...> Человеческое бытие может вступать в отношение к сущему только потому, что выдвинуто в Ничто. Выход за пределы сущего совершается в самой основе нашего бытия».

Конец лекции содержит вызов научной методологии.

«Метафизика есть основное событие в человеческом бытии. Она и есть само человеческое бытие <...>. До серьезности метафизики науке со всей ее строгостью еще очень далеко».

Говоря 22.12.1929 г. у Шлика на тему *все* с цитатой из хайдеггеровской лекции — «Всякое полное перечисление должно заканчиваться словами: “и кроме того ничто”»⁴¹.

Витгенштейн принимает вызов Хайдеггера и его формулу научного подхода. Добавление «и кроме того ничто» не кажется ему надуманным и искусственным. Он читает Хайдеггера внимательнее чем Гуссерля и «может себе представить», что значат бытие, ужас, изумление перед данностью бытия. Говорить о *всем сущем в мире* он конечно не будет. Достаточно понять, в каком смысле господин профессор Шлик, Вайсман, Витгенштейн суть *все*? «Потому что больше я никого здесь не вижу». Почему, однако, нужно оглянуться вокруг и сказать: «Все, больше никого»? Потому что в комнате могли быть еще люди, например господин Карнап. Понятие *все* приложено к трем присутствующим за отсутствием прочих. А если бы трое составляли безусловно всех? Такое невозможно: выражение «в комнате» уже предполагает что-то вне ее. Так или иначе, втягиваясь в операцию *все*, мы должны для ее полноты ввести в действие формулу *и кроме того ничто*. Перечисление *всех вещей*, однако, невозможно. Задача выделения *всех* решалась бы легче, если бы позволялось образовать класс вещей, например всех носящих брюки и находящихся в этой комнате. Витгенштейн, однако, не позволяет себе оперировать классами. При первом приближении полнота, которой отвечала бы фраза «и сверх того ничто», не дается. Мешает нескончаемость перебора *всех* вещей.

Интересным образом Витгенштейн вдруг говорит, что ему пришло в голову нечто ранее не принимавшееся им в расчет. Возможно перечисление, которое, не претендуя на полноту, перечислением все же останется. Назовем его неполным рисунком,

⁴¹ Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984. Bd. 3. S. 38.

unvollständiges Bild. Например, мы видим две материи одинакового цвета. Сказать о них «обе» значило бы объединить их в один класс, но как ни очевиден кажется класс, состоящий из двух штук одинакового цвета, *В.* воздерживается от его создания. Будем говорить так: мы видели одну материю цвета *x* и видели еще одну материю цвета *x*. Мы теряем полноту перечисления, подразумеваемую в операторе *обе*, т. е. неким образом *все*. Зато обойдена хайдеггеровская ловушка «и кроме того ничто», в которую попадет всякое обобщающее перечисление.

Рассмотрим рисунок комнаты, на котором не изображен никто из присутствующих. Рисунок, однако, не ложь, если не претендует на описание *всего*, имея статус неполного рисунка. Нарисуем лицо без губ.

Кто-то скажет: образ неверен, на этом лице нет рта. Можно возразить: губы здесь есть, просто они в точности цвета доски или, в случае рисунка на бумаге, бледные как она. Некоторые снова возразят: таких лиц не бывает. Тогда, избегая эмпирического перебора возможных и невозможных форм лиц и утверждений типа «лица бывают только такие и больше никаких», назовем рисунок неполным описанием. Как он, будучи неполным, останется верным, так пустой квадрат послужит рисунком комнаты с людьми, только неполным. Вы скажете: но полный лучше. Хорошо, тогда я нарисую в квадрате три кружка. Вы будете склонны принять такое изменение за согласие перейти от неполного описания к полному, но считать так нет необходимости, иначе вы попадетесь в ловушку другого рода. Не надо думать, что перед нами теперь полный рисунок с перечислением всех в комнате, кончающимся «и кроме того ничто». Надо считать и новый рисунок тоже неполным описанием, построенной по типу «я видел одну материю цвета *x* и еще материю цвета *x*». Я видел одного господина в брюках и еще одного такого господина и еще одного господина и изобразил их, не думая при этом ни о какой полноте и ни на какую полноту не претендуя. Ваша проблема, если вы приписываете моей фразе значение полноты, воображая под одним и одним и одним *всех*. В моей фразе, в моем рисунке нет ничего кроме квадрата и кружков. Что они *всё*, во фразе не сказано. Мысленное добавление этого *всё* незаконно. Корректным прочтением фразы будет только: наблюдается господин профессор Шлик, он в брюках, господин Вайсман, в брюках, Витгенштейн, тоже в брюках. Ничего кроме фразы не говорит.

Сплошь да рядом мы слышим научные и обыденные фразы как описания *всего*. Утверждения науки в совокупности складываются для нас в картину целого мира. Какое мы имеем право

придавать научным описаниям свойство полных? Никакого. Присмотритесь к формулам науки. Они несут или по крайней мере должны нести на себе признаки неполноты. Надо успеть заметить во всякой фразе, что она неполный портрет положения вещей⁴². Так мы научимся читать науку правильно. Чтобы не попасть в ловушку и не усматривать полноту описания там, где на нее никто не претендует, надо изменить нашу логику. Рассел совершил ошибку, когда записывал некое обстоятельство, например то, что материя имеет определенный цвет, через

$(\exists x). \phi x$.

Здесь квантором существования некоему x приписано лишнее сверх того, за что мы можем по честному отвечать. Можно видеть, что некий x сопровождается функцией ϕ , но усмотреть глазами, что данный x существует, нам, строго говоря, не дано. Казалось бы, утверждать простое существование x безвредно, ведь мы все-таки видим x выполняющим функцию ϕ , но разумнее воздержаться: выполнение функции может оказаться не тождественным существованию. Не приписывая x ничего кроме обладания свойством ϕ и не беря на себя ответственность за его бытие, мы ничего не теряем. Пусть от расселовской формулы $(\exists x). \phi x$ останется только вторая половина, за которую отвечает наблюдаемый факт: мы видели *вот это* в функции *вот этого*. Никакой полноты мы своему рисунку не приписываем. Невыполнимые задачи, включая дефиницию существования, корректно обойдены.

Таким образом Витгенштейн отвечает на хайдеггеровский вызов, показывая, что заявку на охват всего за исключением ничто вносят не утверждения науки, а та особенность принятых в нашей цивилизации языковых игр, что схема всего, целого, глобального необоснованно накладывается на любое описание. Витгенштейн предлагает читать науку как систему неполных рисунков. Она уступает метафизике не в строгости, а в охвате бытия.

Возможна ли в принципе полнота описания? Да, когда мы дойдем до «элементарных предложений», далее уже не разложимых. Они тоже будут описывать только то, что мы видим, т. е. не схемы, а цвета, но на уровне, не оставляющем места для большей конкретности, т. е. с предельной полнотой. Элементарное предложение опишет цвет, как мы его видим (переживаем), а не как мы о нем говорим. Применительно к экзистенциальному опыту, о котором говорит Хайдеггер в «Что такое метафизика?»,

⁴² Ibid. S. 41.

оно будет самым опытом ужаса, а не теми словами, которые мы в нем или о нем скажем⁴³. Имея опыт синего, нелепо говорить, что на самом деле мы не имеем опыт синего или что он неполный.

«Одно элементарное предложение будет описанием всех цветов в данном пространстве»⁴⁴.

Войдут ли в *Elementarsatz* предметы, объекты? Нет. Ведь для этого их надо будет ввести в субъект-предикатную форму, которая, строго говоря, не существует.

«Ясно, что где нет субъект-предикатной формы, там нельзя в этом смысле говорить и о предметах»⁴⁵.

Поверхность комнаты будет задана уравнением, описанием будет дано распределение цветов на данной поверхности. Никакой речи о предметах — стульях, столах, их пространственном положении — не возникнет. Не придется соответственно говорить и об отношениях между предметами.

Всего труднее будут поддаваться описанию оттенки цвета. Элементарное предложение строится на том, что мы их даже не видим, а впитываем, сливаемся с ними, повторяем их нашим настроением. Оно всегда такое, какое оно есть, и непредвидимое. Поэтому:

«Для всей области элементарных предложений действует один принцип, и он гласит: форму элементарных предложений невозможно предвидеть. Просто смешно, когда думают обойтись здесь привычной формой обыденного языка, субъектом-предикатом, дуальными отношениями и так далее»⁴⁶.

Надо переменить взгляд на фразу-мысль. Она казалась нам полным описанием положения дел или движением к полноте, теперь никакую сумму фраз мы не будем считать близящейся к полноте. Квадрат с тремя кружками внутри — не более полный рисунок комнаты, где заседают Шлик, Вайсман и Витгенштейн, чем пустой квадрат. В каждом положении науки привыкнем отыскивать указание на его неполноту. В естественном языке достаточным указанием на нее служит неоднозначность знаков.

От неполных рисунков, какими оказываются теперь все предложения, элементарная, или, как ее было бы точнее называть, стихийная фраза отличается тем, что она погружена

⁴³ «То, что, охваченные жутью, мы часто силится нарушить пустую тишину ужаса именно все равно какими словами, только подчеркивает подступание Ничто» (*Хайдеггер М.* Время и бытие. М., 1993. С. 21).

⁴⁴ Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984. Bd. 3. S. 41.

⁴⁵ Ibid. S. 41.

⁴⁶ Ibid. S. 42.

в первоэлементы и окрашена их цветом. Четыре первоцвета, четыре стихии (*elementa*) в своих переходах составляют богатство действительности. Непохожесть стихийной фразы на неполные предложения естественного языка поможет заметить ее полноту. Игру четырех первичных цветов (*Urfarben*), которую она представляет (*darstellt*), можно только условно назвать собранием предметов⁴⁷. Дело идет не о зрительных фигурах, а о формах жизни. Цветом определенного рода является также человек. Первичный цвет Витгенштейна соответствует хайдеггеровскому основному тону (способу) бытия (*Grundweise des Seins*), каким Хайдеггер называет фундаментальное настроение.

«Равнооправданность» цветовых элементов изображения⁴⁸ имеет в виду первичность (неразложимость) стихий цвета (тона). Вместе они сплетаются в жизненный ковер. Стихий, если не иметь в виду их степеней и сочетаний, не может быть бесконечное множество. Мыслимы если не бесчисленные стулья, то по крайней мере несчетные возможности их расположения в пространстве, но стихия в собственном смысле одна. Цвет, соответственно тон и настроение, неразмножим. Он в этом смысле монада. Соседний цвет, например неуловимого разнящегося оттенка, одновременно тот же самый и несопоставимо другой. Считать, суммировать «предметы» такого свойства невозможно. К ним относятся реальные числа. Число 3, увиденное на уровне первичного цвета без проекции на объект, не больше и не меньше числа 2.

В свете этой параллельной разработки темы *всего* Витгенштейном образы хайдеггеровской лекции «Что такое метафизика?» приобретают объемность. Становится яснее, что нельзя делать из хайдеггеровских жестов схему. Полностью исключается догматическое истолкование пути к бытию только через ничто и ужас. Не только их «светлая ночь», но всякий цвет-тон приоткрывают безгранично ограниченное целое мира.

На том же семинаре 22.12.1929 г., объявив как новость, о которой раньше не думал, неполноту всякой неэлементарной фразы, Витгенштейн сообщает также о своем окончательном отказе от специального языка, который раньше казался ему нужным для описания феноменов. «Мы имеем по сути только один язык, и это обычный язык»⁴⁹. Его отделяет от искусственных терминосистем

⁴⁷ Ibid. S. 43.

⁴⁸ Ibid. S. 43. «Sagen wir, wir würden mit vier Urfarben auskommen, dann nenne ich solche gleichberechtigte Symbole Elemente der Darstellung. Diese Elemente der Darstellung sind die Gegenstände“».

⁴⁹ Ibid. S. 45.

открытость, сравнимая с колесом холостого хода в машине. Оно ничего не касается и не приводит в движение. Так же не достают до действительности наши фразы. Верификация утверждения естественного языка не может быть доведена до конца. Для полного удостоверения фразы, что в комнате находятся три человека, мы озираемся по сторонам, заглядываем за шкаф, возможно под кровать. Однажды начавшись, эта деятельность удостоверения в принципе никогда не завершится. В конечном счете надо надежно убедиться, что присутствующие не тени, что человечность воплотилась в них не отчасти, что я не сплю⁵⁰ и т. д.

«С чего бы я ни принимался за дело, мне никогда не удастся полностью верифицировать предложение. Оно всегда оставляет как бы открытую лазейку. Что бы мы ни делали, мы никогда не уверены, что не обманываемся»⁵¹.

Фразы нашего обычного языка, *строго говоря*, ничего не значат. Если мы что-то имеем в виду, то мимо них.

В необычном для него стиле Витгенштейн заговаривает на том же заседании Венского кружка о *бытии* и *кажимости* (*Sein und Schein*) фразы. Один и тот же язык вращается впустую, оставаясь чистой видимостью, и своей открытостью, многозначной неточностью оставляет место для элементарных (стихийных) предложений. Продавливая слой лексики, они выходят из кажимости и тонут в цвете — понятием широко, — где сливаются с «бытием». Полнота описания достигается не лексикой, а прояснением цветовых границ внутри зрительного поля. Цвет первичен и предшествует метрическим параметрам. Не только *больше-меньше*, но даже *мрачнее-светлее* накладываются на неопределимый первичный цвет внешними схемами. Пространство, занимаемое цветом, тоже надо отличать от него самого. Надо научиться видеть собственно цвет сквозь привходящие структуры. Тогда единственной характеристикой цвета останется только его же безобманное свойство.

В приложении к времени исторический факт, взятый на уровне цвета (тона, настроения), имеет безотносительную внутреннюю

⁵⁰ Ср. в письме Паулю Энгельману 9.4.1917 г.: «Что касается Вашего переменчивого настроения, то это так: мы спим. (Я однажды уже сказал это герру Гроагу, и все так.) *Наша* жизнь как сон. В лучшие часы мы правда бодрствуем достаточно для того чтобы узнать что мы спим и видим сны. Большею частью мы, однако, в глубоком сне. Сам себя я разбудить не могу! Я силюсь, мое сновиденческое тело (*Traumleib*) делает движения, но мое настоящее *не шевелится. Это, к сожалению, так!*»

⁵¹ Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984. Bd. 3. S. 47.

полноту. Продуманный на этой глубине, Августин жил не позже Цезаря. Линия времени неприменима к их существенной характеристике и остается внешней им. Это не означает хаоса во взаиморасположении событий. В моей внутренней памяти цвет, тон, реальное число, исторический факт получают свое уникальное *раньше-позже, меньше-больше*, с метрической оценкой не пересекающееся. Августин здесь может быть раньше и больше Цезаря. Цветовое (тональное) и метрическое пространства настолько разные, что не подлежат взаимному соотношению или уточнению друг другом. Они имеют совершенно разный синтаксис. Так, бесконечной делимости евклидовского пространства в пространстве зрения может соответствовать постепенное слияние чередующихся отрезков белого и черного в сплошное серое.

Цветное пространство, или поле зрения, отчетливо характеризуется невозможностью уловить в нем момент начала. Все, что в нем просматривается, мы всегда *уже* видим. Нет возможности наблюдать, как что-то вдвигается из ненаблюдаемости в видимость. Мы не в силах видеть границу цветного поля. Все, что мы видим, принадлежит уже ему. Вместе с тем, то, что мы *не* видим, полю зрения, по-видимому, уже не принадлежит; таким образом, поле зрения одновременно не имеет границы и ограничено. У Хайдеггера аналогичная граница проходит между бытием и ничто.

Возьмем еще один случай тождества двух не пересекающихся, дополняющих друг друга путей мысли. Выше разбиралась возможность по Витгенштейну повиновения приказу без его интерпретации *и даже без наличия приказа*. Повиновение может «в порядочном числе случаев» не знать, почему оно есть и как реализуется⁵². У Хайдеггера этой ситуации соответствует понятие такой вины, которая опережает знание о себе. «Бытие-виновным»:

«Принадлежит к бытию присутствия и означает: ничтожное *бытие*-основанием ничтожности. Принадлежащее к бытию присутствия “виновен” не допускает ни увеличения ни уменьшения. Оно лежит *до* всякой квантификации, если последняя вообще имеет какой-то смысл. Сущностно виновно присутствие также не *иногда*, а *потом снова не* виновно. Воля-иметь-совесть решается на это бытие-виновным»⁵³.

Наличие вины предшествует ее осмыслению, тем более знанию, откуда она, за что и для чего. Она экзистенциал, т. е. само

⁵² Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984. Bd. 5. S. 33–34.

⁵³ Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 305.

человеческое присутствие (Dasein) таково, что виновно в своем основании без надобности искать какие-то другие основания вины. Хайдеггеровским экзистенциалам у Витгенштейна соответствуют элементы жизненной формы и «нити ковра жизни».

Близость, которой мы здесь эпизодически касались, заходит так далеко, что о понимании Хайдеггера говорить рано, пока кажется, что его мысль в своем размахе не достигает витгенштейновских открытий; и наоборот, всего ближе к Витгенштейну в XX в. Хайдеггер, противоположный ему по стилю, часто движущийся в своих разборах путем слова и назвавший Карнапа, одно время коллегу Витгенштейна по Венскому кружку, главной фигурой направления, противоположного философии.

Может быть прослежен сплошной параллелизм между работками двух ровесников, определяющих философскую мысль XX в. Оба предпочли диалогу уважительную дистанцию и чистоту собственного неповторимого стиля.

Лицо бесконечности. Опора на естественный язык

Мысль в поисках надежной опоры каждый раз возвращается к безопорности. Она полагается на безусловную условность имен и правил внутри общепринятых языковых игр. Условна ли эта безусловность, установить не удается. Она отсылает к слову, об условности или безусловности которого можно было бы судить, если бы существовала возможность его наблюдать, но мысль в нем, говоря не иносказательно, по уши потонула. Всякая фраза звучит неизбежно в тех или иных условиях, в которые мы встроены. Через наши условия ведет выход из мухоловки, или, как мог бы звучать русский перевод, из бутылки. Разобраться в наших условиях трудно. Прилагая усилия объяснения, т. е. интерпретации одних слов другими, мы глубже лезем в бутылку. Важно почувствовать, в какой степени слова играют нами и всего больше теми, у кого нет такого ощущения. Объяснения, комментарии движутся по указке языка внутри его системы. Знак отсылает к слововещам. Интерпретации (толки) не выводят нас за рамки условий. Анализ языка ни в какой мере не отменяет его условности. Хайдеггер и Витгенштейн одинаково уходят из лабиринта перекрестных дефиниций.

У философии есть своя защита от грязи, в которую втоптан язык. Поздний Витгенштейн — в отличие от раннего он меняет стиль манифеста на прием осторожного намека, к чему сводится весь его «поворот на 180 градусов», — ищет путь, ведущий без потери реальности мимо ненужных анализов. Во всякой языковой

игре надо различать два переплетающихся слоя. Включаясь в игру, мы хотим победы; одновременно мы взвешиваем, стоит ли игра свеч и очень ли надо соблюдать ее правила. На эту сторону своей игры мы не всегда разрешаем себе обращать внимание, однако так или иначе постоянно принимаем решение не только о правильных ходах, но и о том, правильно ли, что мы в нее играем. Выход из игры, т. е. нарушение правил или, что в сущности то же, ее смена подлежат особому знанию, видящему игру неким образом извне. Как уже говорилось⁵⁴, ошибку в игре без знания ее правил игры замечают по характерному поведению игроков. Мир скован тем, что в нем все именно *такое и существует так* в обоих смыслах: *именно так и просто так*.

«Как все обстоит, есть Бог. Бог есть то, как все обстоит»⁵⁵.

Мир поэтому не может быть замечен нами в нарушении правил. Все случающееся в нем делается *так* в смысле: как надо. Правила действия мира, существующего *так*, не могут быть нам неизвестны. Они всегда остаются нашим единственным несомненным знанием. Знание любых правил и законов зависит от первого и единственного знания, что все в мире именно так. Витгенштейновский перебор случаев, когда анализ уводит в бесконечность, призван показать, что строительство правил и условий именно из-за их устроенности зависает в пустоте и на каждом шагу нечаянно нуждается в надежной неопределимости мира.

Изучив правила, мы следуем или не следуем им; не зная правил, мы знаем, что они нарушены, просто так. Это второе знание не наделяет наблюдателя способностью по наитию вступить в игру, но вполне может удержать его от втягивания в сомнительную игру. Сразу после скандала с известным акционерным обществом время на телевидении получил член правления этого общества. Заверяя, что все в порядке и продолжается сложная финансовая игра по особым правилам, он в доказательство надежности игры сообщил, что постановлением совета акционеров председателю АО присуждена премия за обучение населения новым рыночным отношениям в размере 1 млн. рублей. Текст выступления был явно выверен на корректность, но в облике и поведении выступающего были как раз те «характерные признаки», которые невозможно и не нужно определять и которые как-то *так* показывали, что в игре совершаются (нечаянно или нарочно — другой вопрос) ошибки. Этих признаков было недо-

⁵⁴ Витгенштейн Л. Философские исследования. 54 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994.

⁵⁵ Дневник 1.8.1916.

статочно для привлечения молодого человека к ответственности или для суда над АО, но их было достаточно, чтобы подождать прояснения ситуации и не вступать в игру, не увидев хотя бы одного ведущего игрока, в поведении которого не наблюдалось бы признаков ее нечистоты, чтобы от него научиться ее правилам и подключиться к ней. Такой возможности телезрителю не было дано, потому что в поведении председателя и других членов правления АО тоже были видимые *и так* признаки. Они просматривались и в рекламе акционерного общества.

В знании, имеющемся у нас *просто так*, как в знании сократовского демона нет предписаний для действия, но есть достаточно поводов для осторожности и невключения в ту или иную игру.

Не окажется ли, что, строго говоря, поводов и признаков для невключения *ни в одну* из предлагаемых нам игр всегда достаточно? Тогда, наблюдая за «характерными признаками», можно всю жизнь просидеть, ожидая у моря погоды? Рассмотрим, однако, явление признака, не поддающегося дефиниции, в ситуации, когда жизненная задача требует от нас выполнения обязательного долга. Наш безусловный долг тоже ясен *и так*. Прочтем, не упуская из памяти цитированные выше в двойной передаче со слов жены доктора предсмертные слова Витгенштейна, его дневниковую запись за 35 лет до того, 30.7.1916 г.:

«Снова и снова я возвращаюсь к тому, что просто счастливая жизнь хороша, несчастливая плоха. И если я *теперь* себя спрошу: *но почему я* прямо-таки обязан жить счастливо, то это кажется мне просто тавтологической постановкой вопроса; похоже, что счастливая жизнь сама себя собой оправдывает, что это и *есть* единственно правильная жизнь.

Все это собственно в известном смысле глубоко таинственно! Ясно, что этика не *поддается* высказыванию!

В чем объективный признак счастливой, гармоничной жизни? Тут опять же ясно, что никакого такого признака, который поддавался бы *описанию*, не может быть.

Этот признак не может быть физическим, но только метафизическим, трансцендентным».

Запись сделана на фоне затянувшейся безысходной войны и, таким образом, в ощущении полной независимости счастья и несчастья от окружающих условий.

«Может ли быть этика, если кроме меня нет ни одного живого существа?

Если этика должна быть чем-то основополагающим, то: да!

«...» Для существования этики должно оставаться безразличным, существует ли в мире живая материя или нет. И ясно, что

мир, в котором есть только мертвая материя, в себе ни добрый, ни злой, так что и мир живых существ в себе не может быть ни добрый, ни злой»⁵⁶.

В зашифрованных дневниках трудность военных условий от начала до конца записей очевидна.

«16.8.14. Еще раз: тупость, наглость и злоба этих людей не знает границ».

В неисправимых обстоятельствах происходит благодаря минутам откровения и упрямству необъяснимое и неопределимое.

«3.9.14. Читал из Толстого с большим приобретением.

5.9.14. Я на пути к какому-то большому открытию. Но доберусь ли я до него?! Я чувствую, что лучше, чем прежде.

8.9.14. Каждый день много работал и много читал из «Объяснений к Евангелию» Толстого.

12.9.14. Снова и снова произношу себе в душе слова Толстого: «Человек бессилён в плоти, но свободен через дух». Пусть будет во мне дух! Дай мне Бог силу! Аминь. Аминь. Аминь.

13.9.14. Пусть я никогда себя не потеряю.

16.9.14. Человек бессилён в плоти и свободен через дух. И только через него.

18.9.14. Тяжело служить духу с пустым желудком и не выспавшись!

7.10.14. Я могу через час умереть, я могу через два часа умереть... Я не могу этого знать и ничего для этого или против этого сделать: такова эта жизнь. Как я должен тогда жить и продолжаться в каждый момент? Жить в добром и прекрасном, пока жизнь сама не прекратится.

11.10.14. Ношу «Изложения Евангелия» Толстого всегда с собой повсюду как талисман.

2.11.14. Действительно счастье, что человек имеет сам себя и всегда может спастись у себя. Много поработал. Благословение работы!

12.11.14. Только не терять себя!!! Соберись! И работай не для провозждения времени, а благочестиво, чтобы жить! Никому не делай несправедливости!

7.3.15. Бог есть любовь.

29.4.15. Работай. Иначе тебе будет плохо. Не давай только обрабатывать тебя пошлым людям.

30.3.16. Ты делай лучшее, что можешь! На большее ты не способен: и будь доволен. Пусть другие будут довольны собой. Потому что другие тебя не поддержат, разве что только на короткое время. (Потом ты им станешь в тягость)».

Признаки счастья и несчастья, что то же — добра и зла, честной и нечестной игры, не поддаются описанию, но оттого не становятся менее применимы, тем более что они единственно

⁵⁶ Дневник 2.8.1916.

важны. Хорошее (счастливое) и бытие у Витгенштейна оказываются тождественны. Обязанность добра равна обязанности счастья и императиву бытия. Сказать перед смертью, что его жизнь была счастливой, было другим способом выразить заявленное в Предисловии к «Трактату»: моя мысль (тождественная моему бытию) неопровержима и окончательна. Хорошее и плохое, бытие и небытие, счастье и несчастье составляют неизменный пейзаж этой мысли. Хранить его, сберегая тем самым мир, оставляя его в покое, было выполненным делом жизни философа.

Подобно миру, *просто так* существует естественный язык. Поэтому мы проваливаемся сквозь него в любом месте, где хотим от него определенности. В поисках, за что ухватиться, мы впадаем в бесконечный анализ. Часто говорят, что от великого до смешного один шаг — какой именно? поможет ли тут уточнение, что шаг равен 75 сантиметрам? — Ну разумеется, тут требуется уточнение другого рода! — Тогда за тобой определение рода точности, дай его! В апории Ахиллеса и черепахи проблема начинается, когда требуется уловить точный момент касания их точечных масс. Кто скажет, что она далека от жизни, пусть подумает, как считают наши деньги. В расчетной ведомости против моего имени стоит 47 307 рублей 04 копейки. Борясь за свое право, я должен просить, чтобы мне выдали и эти 04 копейки. Материально монеты такого достоинства не существуют. С другой стороны, ни одна бухгалтерия страны не вправе произвести перерасчет так, чтобы оказалось, что мне эти 04 копейки в дополнение к 47 307 рублям платить по честному не надо; скорее наоборот, обнаружилось бы, что мне причитаются 04 копейки с десятистыми и сотыми. Без их выплаты в отношении меня совершается несправедливость, при всей своей малости окрашивавшая мое общественное существование в неблагоприятный тон. Если бы развитая, изощренная и громадная система финансов не была дополнена всенародным отказом от точного счета, она увязла бы в вычислениях бесконечно малых. Не только в финансах, но в законодательстве, юриспруденции, образовании, в социальном обеспечении, в медицине существуют две системы, из которых одна столкнулась с Зеноновой апорией и увязла в уточнениях, а другая, спасающая положение, существует *как-то так*, т. е. не по плану, и *так как-то*, т. е. просто так. Что происходит при соприкосновении обеих систем, уходит из-под контроля в непрозрачность.

«Что это значит: знать, что такое игра? что это значит, знать это и не уметь сказать?»⁵⁷ При обсуждении имплицитных пред-

⁵⁷ Витгенштейн Л. Философские исследования. 75 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994.

посылок речи, поведения, бездействия акцент обычно ставится на отличии их от эксплицитных. Создается впечатление, что имплицитные еще не эксплицированы, но будут. Когда я проясню имплицитное, откроется ли мне, каким оно было? Надо только дожидаться, когда подразумеваемое выскажут, и получит определение именно то, что все чувствовали? Едва ли.

Экспликация имплицитного небезобидна. Ее легко начать, но что она когда-то кончится, доказать трудно. Художника спрашивают, почему он назвал хаотическое на первый взгляд нагромождение нечетких геометрических фигур женщиной. Художник послушно начинает объясняться. Вскоре ему становится скверно на душе. Эксплицируя, он переживает не создавшее картину имплицитное, а что-то другое. Техническая отчетливость приставок *им-* и *экс-* обманывает. Перевода из дословесного в словесное не получается. Художник недоволен собственным объяснением. Он нервничает: нет, я не то хотел сказать. Он говорит длинно, потом невразумительно, наконец бросает попытку и предлагает: давайте я лучше нарисую то же или лучше другое. Статус невысказанных предпосылок его работы другой, чем можно высказать. Или, в хорошем случае, то, что он предлагает в качестве экспликации имплицитного, останется по-своему опять же тайным. Редактор спрашивает меня: почему вы написали *тожество* при более обычном *тождество*; *бытиё* при словарном *бытие*; почему *при том что* пишете в три слова без запятых. Я начинаю объяснять, и мне скоро становится неловко, если не стыдно. Я сучусь, импровизирую аргументы и начинаю проигрывать. Ну ладно, это вкусовое, снисходит редактор и обидным для меня образом позволяет мне сохранить мои вольности. Он великодушно напишет в аннотации к книге, что текст дается в авторской редакции, т. е. автору позволили из уважения к нему написать, как он хотел, а не как *правильно*. Я уверен, что правильны мои *тожество*, *бытиё*, *при том что*. В справочниках и словарях, которыми пользуется редактор, я найду подтверждение моей правоте. Но варианты, прецеденты, допустимые возможности, вольности мне самому неприятны, потому что мне в конечном счете не меньше чем редактору хочется чтобы правила в языке были жесткие и от толкования не зависели. Редактор не хуже меня понимает, что такое невозможно, что варианты неустранимы; он готов признать за мной хорошее чувство русского языка и даже хорошее знание его грамматики, но вместе со мной чувствует, что полиция стиля нужна, и правила не для нашего и вашего удобства придуманы, их нельзя гнуть по надобности. Правила в важном смысле не наши.

В истории литературного языка происходит вовсе не так, что мы получаем на руки правила, когда имплицитная механика языка разумно эксплицируется. У правил есть та же неэксплицируемая неопределимость, что у внутреннего (*intern*) в языке, только *наоборот*. Отношение имплицитного к эксплицитному похоже не столько на постепенное выплывание подводного на поверхность, сколько на правое и левое. Их противоположность неустранима. Отнесем одно к сну, другое к яви. Прямой пересчет из сна в явь невозможен. Эксплицитные правила учебной грамматики получены не путем исследования того, что на современный момент имеется «внутри» языка. Они внесены из области отвлеченной мысли, где получают себе рациональное оправдание независимо от реалий речи. Усилия языковедов эксплицировать «глубинные» структуры путем формализации и задания списков правил дают нечто третье, отличное и от языка в его неписаном обычае, и от его традиционной грамматики. Витгенштейн называл такие конструкции изобретательством языка. Он «не отличал [...] попытки построить логически совершенный искусственный язык от попыток построить лингвистическую теорию естественного языка, которая способна представить логическую структуру, находящуюся под поверхностной грамматикой его предложений»⁵⁸.

Среди эксплицитных правил языка, общественного поведения, искусства есть необъяснимо жесткие. Нарушение их карается несоразмерно сурово сравнительно с ничтожным вредом, который принесет их неисполнение. Мы можем говорить как угодно небрежно на родном языке. Иностранцу позволено еще большее количество ошибок: мы понимаем, что неправильность его речи происходит от следования правилам своего языка, interfering с нашими; он говорит неверно от подчеркнутой корректности. Попробуйте, однако, нарушить, не будучи иностранцем, правила падежа, числа и рода. Это шокирует как появление на людях без одежды или демонстрацию дурных манер. Искажение падежа, числа, рода обычно легко восстанавливается и сравнительно с другими неправильностями речи никому не вредит, но ошибка подобного рода всегда привлекает к себе, к стыду совершившего ее, подозрительное внимание. Ее обычно не удается даже списать на счет фрейдистской оговорки, при известной откровенности извинительной.

Нормы, не допускающие нарушения, у всех на виду. Их неприступность и безусловная нерушимость внутри, казалось бы,

⁵⁸ Katz J. Linguistic Philosophy. London, 1972. P. 14.

интимно моего языка заставляет заметить их необъяснимую обязательность. Как звучит множественное мужского рода от *normal*? *Normaux*, отвечает француженка, и удивленно признает: мне самой это странно; здесь что-то необычное для уха, но именно так надо у нас говорить. Историческая фонетика покажет происхождение произношения, но не объяснит, почему норма родного языка кажется чужой, а ее нарушение совершенно недопустимым. Из отчетливости эксплицитных правил не вытекает, как уже отмечено, доступность имплицитных. Они не совсем правила или совсем не правила. В таком случае лучше считать, что кроме явных правил никаких других просто нет.

«Он, правда, дал мне на мой вопрос, что он поднимает под “N”, определенное объяснение, но был готов взять назад это объяснение и изменить его. — Как прикажете мне тогда определить правила, по которым он играет? Он их не знает сам»⁵⁹.

Мысль и слово: каково их отношение? Вопрос отсылает к поискам в пустоте. Он предполагает фиксацию отношения мысль-слово. Между тем мысль и слово настолько отдельные, что они одно и то же. Их тождество обнаруживается в моменты сплавления их в единство. При фиксации мгновения пропадает уникальность, в какой держится настоящее слово, и оно становится обобщенным, т. е. выпадает из мысли в схему. Исследователи сердятся на Витгенштейна за отсутствие у него дефиниций, даже таких центральных как языковая игра. Здесь видят «ослаблени [е] содержательности (!) и точности многих центральных понятий». Вместо *многих* точнее было бы сказать *всех*. «За всем этим скрывается абсурдная по своей сути боязнь любого рода обобщений»⁶⁰. Боязливости философа предпочитают уверенное вторжение в мир, главным средством справиться со сложностью которого служит генерализирующая типизация. Подводя итог анализу и «критике философского мировоззрения» своего подопечного, исследователь иронизирует: «“Правильное видение мира”, с помощью которого нам будто бы открывается “истина”: “все есть так, как оно есть”, не приводит ни к какому ощутимому результату, так как целиком ориентирует на созерцательное отношение к действительности»⁶¹. Здесь верно замечено неучастие философа в научном прогрессе; точно названо начало и окончание

⁵⁹ Витгенштейн Л. Философские исследования. 82 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994.

⁶⁰ Грязнов А. Ф. Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна. М., 1985. С. 139.

⁶¹ Там же. С. 162.

витгенштейновских разборов — констатация отмеченного нами выше двойкого *так* мира. *Такой* мир раздражает, с ним хочется что-то сделать. Поскольку он большой, его надо охватить приемом наиболее глобального обобщения. Ситуация человека, всегда неизменно нуждающегося, и явные случаи скандальной нехватки (продуктов, бензина, денег, следователей, выдающихся философов) описываются однако с тайной радостью, потому что острая житейская потребность позволяет забыть о метафизической.

Язык сплетен со стихией мысли, очертания которой не видны, и манит своей мнимой осязаемостью, как стул и стол в тумане. Появляется надежда сесть на него; мы тянемся к опоре, она вдруг исчезает. Грамматики, описывающей такое поведение слова, не может быть, как науки о внезапно исчезающем стуле. Академическая грамматика работает не со словом, а с лексикой.

Между 1934 и 1936 гг. Витгенштейн в курсе лекций надиктовал студентам, которых было около 7 человек, текст примерно в 100 страниц. Он был распечатан в количестве предположительно 30 экземпляров и переплетен в голубую обложку. Задачей философской работы здесь назван «разбор грамматики слов, которые описывают то, что обозначается как «духовная [психическая]» деятельность: слышание, видение, ощущение и т. д. И когда мы говорим, что занимаемся грамматикой «выражений, описывающих чувственные данные», то все сводится к тому же самому»⁶².

Почему такой обходный путь через грамматику слов, которые описывают то, что обычно обозначается психической деятельностью? Не лучше ли сразу взять психическую деятельность и предложить ее теорию, если всего того, что уже сделано здесь, кажется мало?

Каждому, кто говорит *дух, душа, психическая деятельность*, эта тема в большой мере своя. В колее Гегеля, с одной стороны, символизма, с другой, духовность была высоким словом. Хайдеггер исключил это слово из рабочего употребления так, словно его не существовало в языке, или брал его в кавычки как цитату; тем самым дух, заметил Деррида, был особо выделен и его тема подчеркнута. По своему обыкновению полагаясь на звучащий вокруг него язык, Витгенштейн усвоил дух (психику) как название проблемы. Вокруг него общественность говорила о духе много и уверенно. Люди явно будут еще долго говорить так, как обычно говорят.

⁶² Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1984. Bd. 5. S. 110–111.

Витгенштейн свято уважает обычай. Для него характерно детское нерассуждающее послушание принятому течению мира. Оно присуще ему во всем. Как принято, он идет солдатом на Первую мировую войну, когда в Австрии объявлена всеобщая воинская повинность, и санитаром на Вторую мировую войну, на этот раз на стороне Англии. Попав в плен к итальянским противникам, он оставался там почти год до самого конца войны без заметных попыток вырваться оттуда. Как ребенок, не сомневающийся в праве вещей быть такими, какие они есть, он без рассуждений принял одиночество, последнюю болезнь, смерть.

Опора на естественный язык была частью этого невмешательства в мир. Витгенштейн имел основания для нервного срыва, когда Бертран Рассел представил «Логико-философский трактат» в третьем абзаце своего «Введения» главным образом как работу над «условиями, каким должен отвечать логически совершенный язык». Очищенный язык мешает понять естественную речь, как теоретическая модель психики отвлекает от живой мысли. Обсуждение духовной деятельности делает ее чужим предметом. Возвращаясь к сердитому стилю «Трактата», философ диктует в «Голубой книге»:

«Ложно говорить, будто мы в философии рассматриваем идеальный язык в противоположность нашему обычному языку. Потому что это вызывает видимость, будто мы думаем, что способны были бы улучшить обычный язык. Но обычный язык совершенно в порядке»⁶³.

Лучше говорить не о периодах Витгенштейна, а о стилях, различая в основном два. Решительный, иногда гневный характерен для «Трактата». Там уже прослеживается, однако, и другой, осторожный, прислушивающийся, вопросительный. Этот преобладает в поздних работах, где, впрочем, как мы видим, дает о себе знать и ранний уверенный стиль. Процитированные фразы о беспроблемности обычного языка продиктованы в стиле декрета и предполагаются несомненными. Идея, что с обычным языком все совершенно в порядке, никогда ни в какой мере Витгенштейном не пересматривалась, составляя одно целое с его общей жизненной установкой. О том же говорит замеченная знавшими его людьми характерная просьба применительно к сложным вещам и обстоятельствам: оставьте эту проклятую (заклятую) вещь в покое.

Всего больше тенденцию реформы языка вызывает неуловимая смена его игр. Он ведет себя как люди с мячом, которые начина-

⁶³ Ibid. S. 52.

ли бы каждый раз новые игры, не доводя их до конца, то подбрасывая мяч вверх, то гоняясь с ним друг за другом. Сказать, во что они играют, невозможно, однако игра в мяч не прекращается и каждый отдельный бросок следует какому-то своему правилу.

«Разве не бывает и такого случая, когда мы играем и — *make up the rules as we go along*? И даже такого, когда мы ее меняем — по ходу игры»⁶⁴.

Вопрос не имеет ответа и подразумевает его. В реальности мы принимаем в каждый момент нашей речи и поведения гораздо больше решений, чем нам кажется и чем мы успеваем заметить. Назвать все эти решения вполне нашими мы не можем, хотя и действию чужих сил поддаваться тоже не хотим. Есть ли правило, по которому меняются правила игры? разве мы не сменим и то правило? Философ отдает себя ситуации, в которой опора исчезает. Он скован ее жесткостью. Солдат Витгенштейн молчит, подчиняясь как велению свыше приказу отвратительного командира. Позволяет ли он себе вольности в мирное время? Нет, он всегда скован императивом, пытаюсь расслышать, чего тот требует. Всегдашняя послушность помогает ему с необычным вниманием разбирать то, что он слышит поверх слов, — не потому что критически или аналитически настроен, а потому что заморожен и речью взрослых и своей внутренней речью. Не будет большой ошибкой видеть Витгенштейна остановившимся в развитии ребенком 2 лет, в возрасте, когда проявляется сбивающая взрослых с толку чуткость к слову. Кстати, рассказы о его несносности заставляют вспоминать тот же возраст между двумя и тремя годами, когда все принято как *вот это*, не позволяет обобщения и толкования, единственно и окончательно.

Уже упоминалось, как повинование «в порядочном числе случаев» не знает, почему оно. Тормозя на красный свет, я конечно знаю причину своего поведения; поступать так разумно, правилами все предусмотрено, я действую не по интуиции. Но, вглядываясь в себя, мы обнаруживаем у себя и других инстинкт простого подчинения, ускользающего от анализа. Такое поведение располагается вне системы, построенной на рациональных основаниях.

Выше упоминалась «экзистенциальная вина» Хайдеггера, для которой нет причин. Беспричинность такой вины эксплуатируют люди, которые, заметив беспричинность суда совести, прекращают внутренний судебный процесс, раз там не предъясняется

⁶⁴ Витгенштейн Л. Философские исследования. 83 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994.

материальных улик. Приводимые совестью резоны внятны только для заранее согласившихся с нею. Но с другой стороны, после того как человек махнул рукой на совесть, он не оказывается более защищен от необсуждаемого приказа. Нерассуждающий инстинкт не в меньшей мере склоняет к подчинению, чем знание вины за собой.

Независимость подчинения от причин пусть на время останется без подробного рассмотрения. Заметим только, что она связана с темой двух *Я* в заключении «Голубой книги».

